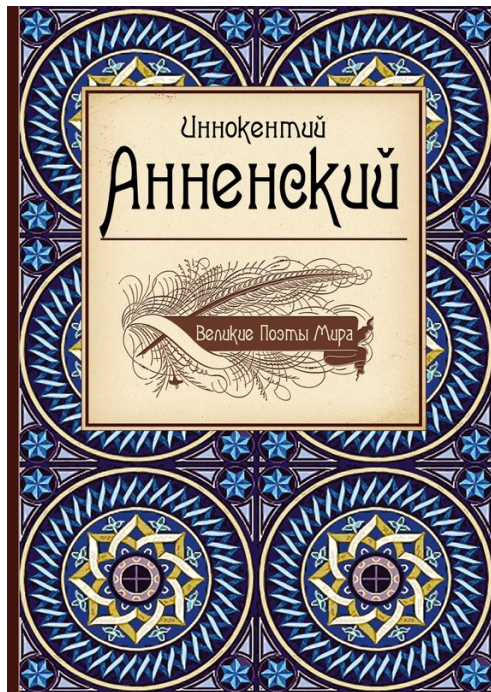




Иннокентий Федорович Анненский
Иннокентий Анненский
Серия «Великие поэты мира»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7287256

Анненский И. Ф. Великие поэты мира: Иннокентий Анненский: Эксмо; Москва; 2014

ISBN 978-5-699-70576-4

Аннотация

Иннокентий Федорович Анненский называл себя «сыном больного поколения», скептическое настроение рубежа веков повлияло на умонастроения поэта, и его творчество проникнуто духом сокрушения ложных кумиров, не оправдавших себя святынь. Критический разум стал в его лирике единственным судьей происходящего. Этот разум хотел узнать точную меру способности современного человека к любви. Литературное влияние Анненского на возникшие вслед за символизмом течения русской поэзии, такие как акмеизм, футуризм, – очень велико. В книгу И.Ф. Анненского вошли стихотворения: в полном объеме сборники «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец», а также произведения, не вошедшие в эти книги.

Содержание

Владимир Смирнов	6
Стихотворения	19
Тихие песни	19
Поэзия	19
∞	19
У гроба	20
Двойник	20
Который?	21
На пороге	21
Листы	22
В открытые окна	22
Идеал	23
Май	23
Июль	24
1	24
2	24
Август	25
1	25
2	25
Сентябрь	26
Ноябрь	26
Ветер	27
Ненужные строфы	27
В дороге	28
Среди нахлынувших воспоминаний	29
1	29
2	29
Трактир жизни	30
Там	31
?	31
Первый фортепьянный сонет	32
Еще один	32
С четырех сторон чаши	33
Villa nazionale[3]	33
Опять в дороге	34
На воде	34
Конец осенней сказки	35
Утро	35
Ванька-ключник в тюрьме	36
Свечка гаснет	37
Декорация	37
Бессонницы	38
1	38
2	38
3	39
Лилии	39

1	39
2	40
3	40
С балкона	41
Молот и искры	42
Тоска возврата	42
Рождение и смерть поэта	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Иннокентий Анненский

Стихотворения

© Смирнов В.П., предисловие, комментарии, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Владимир Смирнов Голос вне хора

Так назвал Анненского великий русский мыслитель Михаил Бахтин. Это выражение обладает редчайшей точностью. Оно живо и просто объемлет то, что сделано в русской поэзии Анненским, – смысл и суть им созданного. Слова Бахтина были вызваны сугубо теоретическим, частным поводом, но в частном оказалось провидчески схвачено общее. Речь, разумеется, шла не о какой-то отъединенности, исключительности. Всякий значительный поэт единствен. И все же человеческая и творческая участь Анненского поражает сторонностью. Об этом и стихотворение Анны Ахматовой «Учитель. Памяти Иннокентия Анненского», написанное в 1945 году:

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался;
Кто был предвестьем, предзнаменованием,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся...

Ахматова в ту пору имела все основания думать именно так. На долгие годы лирика Анненского была обречена, если воспользоваться одним из его любимых слов, «забвенности». Жалкое полупризнание, недоуменно-снисходительные оценки современников и потомков (верно, были и редкие исключения иного порядка) будто подтверждали горестное признание поэта: «я лишь моралист, ненужный гость, неловок и невнятен». Но времена меняются, меняются и люди. Во всяком случае, сегодня почти никому и в голову не придет оспорить такое, например, суждение: «Анненский – единственно возможный, вместе с Блоком претендент на русский поэтический трон со смерти Тютчева и Некрасова!» (*Георгий Адамович*). Конечно, есть и другие взгляды на сей счет, но сама значительность Анненского-поэта, мыслителя, переводчика, просто *Анненского* – в пределах национальной художественной культуры и самосознания бесспорна.

Когда Анненский готовил к изданию свою первую стихотворную книгу «Тихие песни», он решил сопроводить ее предисловием. Статья осталась незавершенной и в книге не появилась. Она была напечатана после смерти поэта. Название статьи – «Что такое поэзия?» Занятен венчающий фразу знак вопроса. Это весьма в духе Анненского. Вот начало заметки: «Этого я не знаю. Но если бы я знал, что такое поэзия... то не сумел бы выразить своего знания или, наконец, даже подобрав и сложив подходящие слова, все равно никем бы не был понят. Вообще есть реальности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять. Разве есть покроя одежды, достойной Милосской богини? <...> Хотя я и написал в заголовке: *Что такое поэзия?* – но вовсе не намерен ни множить, ни разбирать определений этого искусства. К тому же мне решительно нечему учить, так как в сфере поэтики у меня есть только наблюдения, желания или сомнения. Конечно, мысль, этот прилежный чертежник, вечно строит какие-нибудь схемы, но, к счастью, она тут же и стирает их без особого сожаления». Статья и не могла быть завершена. Только упразднение поэзии, ее «невозможность» позволяет решить, *что она такое*. Но надеемся, последнего не произойдет и она останется животворящей мир тайной. И все же велик соблазн у художника добаться до тайны, если и не вообще поэзии, то хотя бы своей.

Анненскому это удалось.

Творящий дух и жизни случай
В тебе мучительно слиты,
И меж намеков красоты
Нет утонченной и летучей...

.....

Неощутима и незрима,
Ты нас томишь, боготворима,
В просветы бледные сквозя.

Так неотвязно, неотдуманно,
Что, полюбив тебя, нельзя
Не полюбить тебя безумно.

(Поэзия)

Здесь схвачена, до жесткости формулы, суть собственной поэзии – «творящий дух и жизни случай» в их «мучительной» слиянности. По слову Гумилева, то был «голос одинокой музыки», «голос нежный и зловещий». Соседство последних эпитетов есть точное определение смысловых полюсов, предельных напряжений, лирической интонации «русского Еврипида».

Вот лишь несколько примеров этой полюсности.

В каждом случае «немота бытия» раскована словом и ритмом:

Иль я не с вами таю, дни?
Не вяну с листьями на кленах?

.....

Иль я не весь в безлюдье скал
И в черном нищенстве березы?

(«Когда б не смерть, а забвенье...»)

Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть... Наша совесть...

(В дороге)

Ты опять со мной, подруга осень,
Но сквозь сеть нагих твоих ветвей
Никогда бледней не стыла просинь,
И снегов не помню я мертвей.

(«Ты опять со мной, подруга осень...»)

Шарики, шарики!

Шарики детские!
Деньги отецкие!
Покупайте, сударики, шарики!

(Шарики детские)

Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От нее даже дыму
Не уйти в облака.

Эта резанность линий,
Этот грузный полет.
Этот нищенски синий
И заплаканный лед.

(Снег)

...Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут.

(«Тоска припоминания»)

Талый снег налетал и слетал,
Разгораясь, румянились щеки.
Я не думал, что месяц так мал
И что тучи так дымно-далеки...

Я уйду, ни о чем не спросив,
Потому что мой вынулся жребий,
Я не думал, что месяц красив,
Так красив и тревожен на небе.

(Зимнее небо)

Как-то поэт и критик Георгий Адамович заметил, что «Анненский несомненно «вышел из «Шинели»», – он и стилистически остался несколько прозаичен, вопреки веяниям времени». Об этой стороне поэтического гения Анненского писали не раз, писали с чудесной пронизательностью Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Владислав Ходасевич. «Высокий лирический прозаизм Анненского» (*Мандельштам*) – другими словами обозначенные все те же «творящий дух и жизни случай». Сам Анненский, применительно к новому качеству русской лирики XX века, отметил такое обстоятельство: «стихи и проза вступают в таинственный союз». Этот «таинственный союз» и был им воплощен с редкой последовательностью и художественной волей, дерзко и одновременно с удивительным старомодным тактом: «...строгая честность, умная ясность, безнадежная грусть. Это наш Чехов в стихах». Таково было давнее мнение русского мыслителя Георгия Федотова.

Анненский был далек от «Бури и Натиска» в русской поэзии XX столетия, так склонного к суете и оболыщению «новым». За спиной был XIX век, его век, «где гении открывали жизнь и даже *творили бытие*». Где сам он жил, думал, учил гимназистов, переводил Еврипида, что-то мучительно решал над «чадными страницами» Достоевского. Да и вели-

кая русская литература была «его» литературой. Делом теплым, домашним. А как он писал о ней! О Гоголе и Достоевском, Тургеневе и Лермонтове, Гончарове и Аполлоне Майкове, Писемском и Толстом... Он создал великую критическую прозу, которая так и просится быть выученной наизусть, удивляет даже при сотом чтении глубочайшей причудливостью своих «отражений», доносящих «что-то безмерное, что-то безоглядно наше». Пожизненное ученичество у Достоевского, «поэта нашей совести», было каким-то восторженно-каторжным в стремлении «думать об этике и будущем». Сейчас смехотворной, нелепой выпадит некогда устойчивая манера писать об Анненском как об эстете, декаденте, пессимисте, поэте страданий и смерти, последнем «александрийце». И это о человеке, в бумагах которого нашли запись, видимо, сделанную в последние годы жизни: «Я должен любить людей, т. е. я должен бороться с их зверством и подлостью всеми силами моего искусства и всеми фибрами существа. Это не должно быть доказываемо отдельными пьесами, это должно быть определителем моей жизни».

На новый век, где «talанты стали *делать литературу*», он взирал с недоверчивой терпимостью, хотя и стал могучим поэтом именно этого века. «Во время расцвета мишурного русского символизма и даже до его начала Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать. Анненский никогда не сливался с богатырями на глиняных ногах русского символизма – он с достоинством нес свой жребий отказа – отречения» (О. Мандельштам. «*Письмо о русской поэзии*»). Можно различно оценивать этот франтовато-язвительный пассаж Мандельштама. О русском символизме сказано вряд ли справедливо. Но об Анненском – очень точно.

«Отказ» и «отречение» от чего? Во имя чего? Во имя «последних слов». Во имя осознанно-интуитивного аскетизма – не в смысле чистоты и краткости, а содержательной кристаллизации, стихотворно-лирического преображения романного пространства, события, случая, поступка, сценки (в стихах Анненского почти всегда что-то «рассказывается»). Осознанно-интуитивная задача художника – взять у социально-психологического романа в его вершинных достижениях все, что годится для лирики, что будет для нее плодотворно, а не разрушительно. Органически поглотить лирической образностью прозаическую повествовательность. В пределах стихового пространства, всегда сверхограниченного, сохранить открытость и текучесть романного времени. Противопоставить многолюдью романа психологически достоверного, исторически типичного лирического героя, изображенного во множестве простейших и фантазмагорических сцеплений с реальным. Воссоздать мир чувств и переживаний, размышлений и социального поведения человека не в длительности подробного и тщательного психологического анализа, а в момент «смысловой вспышки», «кризисности». За счет скупого и верного отбора деталей, жестов, примет, вещей. Не окружающих, а зеркально обступающих личность. И в силу этой зеркальности хранящих правду о человеке: «жизнь становится понятной и событийно весомой только изнутри, только там, где я переживаю ее как я... понять – значит вжиться в предмет, взглянуть на него его же собственными глазами...» (М. М. Бахтин). В единичном должно быть как бы свернутое целое. Только тогда «прерывистые строки», пропущенные «логические звенья» воссоздают полноту жизненного объема. И конечно же – «обаяние пережитости». Но это уже за гранью стиха, хотя и одно из решающих условий подлинности искусства вообще.

Призрачность реального и реальность призрачного были свойствами, знаменами эпохи. Русская литература той поры, живопись, театр пронизаны этими «метафизическими сквозняками». Поэтический мир Анненского не изобретен, не мастерски сконструирован, его основания – глубоко в жизни. В его лирику не проникали и не могли проникнуть жеманство, кокетство, стилизация, претенциозность и «сладострастие исканий» (Блок). Все это – порой весьма талантливое – претендовало на «последнее слово» в поэзии. «Новое» у этого паразитально чуткого к современности художника существовало лишь «в смысле разновид-

ности «вечного». Символизм Анненского очень своеобразен. Потому, наверное, сами символисты и проглядели великого поэта, а подлинными наследниками оказались художники новых поколений, вплоть до Маяковского. «...Дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. ...Он шел одновременно по стольким дорогам! Он нес в себе столько нового, что все новаторы оказались ему сродни» (Анна Ахматова).

«Символизм в поэзии – дитя города. Он культивируется, и он растет, заполняя творчество по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее. Символы рождаются там, где еще нет мифов, но где уже нет веры» (Анненский. «О современном лиризме»). Музыкально-мистическая стихия слова, главенствующая у символистов, у Анненского весьма второстепенна. Анненскому важно совсем другое: «...за последнее время и у нас ух! как много этих, которые нянчатся со словом и, пожалуй, готовы говорить об *его культе*. Но они не понимают, что самое страшное и властное слово – *будничное*» (письмо М. А. Волошину от 6.III.1909). «Жизни случай» ни с каким иным словом не согласуется. «Будничное» слово, обладая прозаической точностью, особой внушающей силой, вносит в лирическую сферу тот звук, что и животворит ее.

К поэзии Анненского в полной мере относится то, что сам поэт писал об идее: «В идее, пока она жива, т. е. пока она – идея, неизменно вибрирует и взрастившее ее сомнение – возражения осилены, но они не убиты» («Бранд-Ибсен»). Потому его муза вопрошает, сомневается, двоится, удивленно отшатывается, как-то по-человечески мнется, в жуткой невозможности высказать одно сбивается на другое, ее одолевает метафизическая неловкость, она потрясена бездонностью своих же догадок.

Не страшно ль иногда становится на свете?
Не хочется ль бежать, укрыться поскорей?
Подумай: на руках у матерей
Все это были розовые дети.

(Июль. 2)

Она пытается оправдать недолжную очевидность чем-то высшим («Иль над обманом бытия Творца веленье не звучало?»), но подозревает и высшее, срываясь почти в кощунство:

Моей мечты бесследно минет день...
Как знать? А вдруг, с душой подвижной моря,
Другой поэт ее полюбит тень
В нетронуто-торжественном уборе...

Полюбит, и узнает, и поймет,
И, увидав, что тень проснулась, дышит, —
Благословит немой ее полет
Среди людей, которые не слышат...

Пусть только бы в круженье бытия
Не вышло так, что этот дух влюбленный,
Мой брат и маг, не оказался я
В ничтожестве слегка лишь подновленный.

(Другому)

Позволим себе опасное предположение. Две первые строфы могли бы написать по-своему, разумеется, но о *том же* – Баратынский или Тютчев, но вот последнюю – *только* Аннен-

ский, и не потому вовсе, что он человек иной поры, иного опыта, выше или ниже даром поэтическим. Важна природа дара, диковинное устройство его, роковая склонность к недозволенным прозрениям, от последствий которых хочется бежать, спрятаться. А бежать некуда, прятаться негде. Вот здесь и рождается «эффект Анненского, обретший поэтику, способную передать, воплотить «мучительную разноставность, пестроту» (по словам самого поэта) человека, его жизни, его судьбы. «Творящий дух» обуздан «жизни случаем», он подневолен «стуку, дребезгу и холоду» существования, его вечная синева разорвана, смята, но и трагическая бездна страшна уже не черной глубиной, а убийственной чушью:

О, канун вечных будней,
Скуки липкое жало...
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала...

Полумертвые мухи
На забитом киоске,
На пролитой известке
Слепы, жадны и глухи.

.....

И эмблема разлуки
В обманувшем свиданьи —
Кондуктор однорукий
У часов в ожиданьи...

Есть ли что-нибудь нудней,
Чем недвижная точка,
Чем дрожанье полудней
Над дремотой листочка...

.....

Уничтожиться, канув
В этот омут безликий,
Прямо в одурь диванов,
В полосатые тики!..

(Тоска вокзала)

В стихах присутствует сам ужас бессмыслицы. Да так, что до него можно дотронуться рукой. А ведь ничего не происходит. Никаких заклинаний, отчаяний и сетований. Человек плелся не в ад. Ад торжественно декорирован в людском предании. Человек, обыкновенный человек пришел на обыкновенный вокзал, пошатался, поскучал в ожидании поезда, сел в вагон и закрыл глаза. Стихотворение — почти протокольное перечисление вокзальных подробностей, убогих частных: забитый киоск, мухи, пролитая известка, одинокий кондуктор, диваны... Но человек откидывается на полосатую ткань со спокойным сознанием: он в аду.

Предметная, вещная перечислительность в стихотворении Анненского рождает смысловое многоголосие. Слова, не расставаясь со своим понятийным обликом, устремляются,

повинуясь «творящему духу», в иное пространство, всегда в пространство человеческой судьбы, одновременно преобразуя его с невыносимой интимностью мгновенного психологического жеста:

Цвести средь немолчного ада
То грузных, то гулких шагов,
И стонущих блоков, и чада,
И стука бильярдных шаров.

Любится, пока полосую
Кровавой не вспыхнул восток,
Часочек, покуда с косою
Не сладился белый платок.

Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце, и силы дотла —
Чтоб дочь за глазетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

(Кулачишка)

Стихотворение это называется «Кулачишка» (1906). Социальная критика у поэта никогда не звучит без соседства с нотами социального сострадания и нравственного самосуда. Таково и знаменитое «То было на Валлен-Коски»:

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.

Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.

И в сердце сознание глубоко,
Что с ним родился только страх.
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...

Анненский часто достигает «энергической точности и картинности» (Бунин), с которой слито состояние человека, слито, а не перенесено: «зареву едва коробит розовые стекла», «лоскутья облаков», «высоко над дугою звенело солнце для меня», «шумен сад, а камень бел и гулок», «мягкие тучи пробив, медное солнце смеялось», «солнце за гарью тумана желто, как вставший больной», «если ночи тюремны и глухи, если сны паутинны и тонки». Или конфликтное единство традиционного лиризма (вплоть до поэтизмов, сентиментальности, банальщины) с современной, авангардистской изобразительностью:

Вот сизый чехол и распорот, —
Не все ж ему праздну висеть,

И с лязгом асфальтовый город
Хлестнула холодная сеть...

Хлестнула и стала мотаться...
Сама серебристо-светла...

(Дождик)

И я лежал, а тени шли,
Наверно зная и скрывая,
Как гриб выходит из земли
И ходит стрелка часовая.

(Бессонница ребенка)

Снегов немую черноту
Прожгло два глаза из тумана,
И дым остался на лету
Горящим золотом фонтана.

(Зимний поезд)

Трагедийное напряжение этих стихов, их пластическая и звуковая мощь скрыто подержаны тихостью названий. Впрочем, как и многих других («В дороге», «Под новой крышей», «Свечка гаснет», «Свечку внесли», «Под зеленым абажуром», «В вагоне», «С кровати», «Из окна», «Будильник», «Рабочая корзинка»). Это очень существенно для лирики Анненского вообще.

Резкость, с которой Анненский изображает психологическое состояние, держится на вибрирующем напряжении чувства.

Если б вдруг ожила небылица,
На окно я поставлю свечу,
Приходи... Мы не будем делиться,
Всё отдать тебе счастье хочу!

Ты придешь и на голос печали,
Потому что светла и нежна,
Потому что тебя обещали
Мне когда-то сирень и луна.

Но... бывают такие минуты,
Когда страшно и пусто в груди...
Я тяжел – и немой и согнутый...
Я хочу быть один... уходи!

(Canzone)

Отброшенный свет последних строк, их прозаическая неуклюжесть и сбивчивость преобразуют лирическую пьесу. И то старинное, трогательное, прелестно-сентиментальное, что пронизывает стихотворение, оказывается в свете правды. Происходящее происходит *сей-*

час. Сиюминутность, мгновенье драмы, не спрашивая разрешения, задевают нас. И мы уже не свидетели, не наблюдатели, мы ее действующие лица.

Одно из высочайших созданий Иннокентия Анненского, да и всей русской поэзии XX века, – стихотворение «Петербург». Оно – важнейшее звено нашего национального мифа (Петербург – Медный всадник). Это миф, возникший в ту пору, когда закладывался город, а под рукой Пушкина обретший гигантски совершенную значительность, несет в себе загадку и тайну российской истории: трагическое противостояние народа и государственности, сплетение «родного» и «вселенского». Гоголь, Достоевский и Некрасов (святые для Анненского имена) создали свой Петербург. В начале XX века катастрофические предчувствия вновь ожили. В прозе Мережковского и Андрея Белого, в поэзии Блока, Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, в живописи и графике Бенуа и Добужинского предстает иной Петербург. Вот что писал о новом ощущении этого города Анненский: «“Петра творение”» стало уже легендой, прекрасной легендой, и этот дивный «град» уже где-то над нами, с колоритом нежного и прекрасного воспоминания. Теперь нам грезятся новые символы, нас ожидают еще не оформленные, но уже другие волнения, потому что мы прошли сквозь Гоголя и нас пытали Достоевским» («О современном лиризме»). Не о литературных воздействиях и влияниях тут речь, не об изменившемся архитектурном и социальном облике города, но о тайне гранитного призрака, на который уже падают отблески недалеких потрясений:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Это написано человеком далеким от пророчеств, чиновным и лояльным петербуржцем, статским генералом имаститым филологом-классиком, да и просто пожилым человеком. Политический радикализм ему был чужд, «искать Бога по пятницам» он не мог и не хотел. Всегда знал, что «веры выдумать нельзя», да и, в известном смысле, любил «имперский блеск». Сын поэта вспоминал: «Сложная и многогранная душа Иннокентия Аннен-

ского все же была именно русской душой, всеми тончайшими нитями своими связанная со своей родиной, которую он любил верной, твердой и скорбной любовью». Важнейшее свидетельство! Стихотворение выношено «верной, твердой и скорбной любовью». Железный стих, глухая интонация, несколько штрихов петербургского ландшафта, плиты, камни, мгновенья жутких исторических воспоминаний, мужественно-спокойное видение будущего страны, «гиганта на скале». И все неумолимо стремится к *одному* – к чудовищному пустяку (детали памятника Петру), к попорченной змее – злу. «Царь змеи раздавить не сумел, // И прижатая стала наш идол». Так явлена «проклятая ошибка», исторический тупик, неизбежность расплат. Явлена строго, без рефлексий и философской истерики о концах мира сего. В стихах вызревает, кроется за каменной грандиозностью тема возмездия, его неотвратимости... столь жгуче-важная и у Александра Блока. Зло никогда не было попорчено, оно – «наш идол». Так «тревожная душа человека XX столетия», застигнутого приближающейся бурей, принимает вызов судьбы, не склоняясь перед ним. Этой душе еще неизвестен «сдавшейся мысли позор». Сознание всеобщего неблагополучия окрашивает поэзию Анненского в тона жуткие:

Какой кошмар! Все та же повесть...
И кто, злодей, ее снизал?
Опять там не пускали совесть
На зеркала воцеленных зал...

(Бессонные ночи)

Превращение людей в заводные игрушки миропорядка, двойничество человека, его отчаянная борьба с отмеренным судьбой временем (часы, стальная цикада часов, мерный ход маятника) преследовали Анненского:

О чьем-то недоборе
Косноязычный бред...
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет.

Где нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где сердце – счетчик муки,
Машинка для чудес...

(Будильник)

Я заводжусь на тридцать лет,
Чтоб жить, мучительно дробя
Лучи от призрачных планет
На «да» и «нет», на «ах!» и «бя»...

(Человек)

Лирика Анненского всегда, или почти всегда, загадочна. И происхождение этой загадочности коренится не в сложности, шифрованности, смысловой смутности и ускользающих от рационального постижения намеках, а в особой психологической резкости, рождающейся будто из ничего, из словесного праха, романсной банальности, каких-то пустячных сцеплений.

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ишу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

(Среди миров)

Всё по отдельности в этом стихотворении разрушительно для поэзии: псевдозначительность заглавных букв и местоимений, набившие к той поре оскомину «миры» и «светила», сомнительная в своей выпренности «Звезда», убогие «томленья» и «сомненья», жалкие рифмы (*светил – любил, ответа – света*) – во времена стихотворно-технических новаций и экспериментов. Наконец, чудовищное косноязычие (на восемь строк четыре раза употребленное «потому, что», неповоротливо-тяжкое даже для прозы сочетание)... Все так. Но почему же родился лирический шедевр, перл создания, как говорили в старину? Откуда эта власть, эта правда поэта, мгновенно ставшая *нашей правдой*! Откуда пленительная естественность задыхающейся речи? Обрывающейся «не окончанием, а затиханием», как по другому поводу писал Ан-ненский. Никакие объяснения тут невозможны. Их просто нет. «Отрицательная болезненная сила муки уравнивается в поэзии силою красоты, в которой заключена возможность счастья» («Символы красоты у русских писателей»). Вот что есть в этих стихах – «обещание счастья». Здесь разгадка их неотразимости. Более чем обыкновенные слова перемолоты интонацией, она заставила «тихое» слово сказаться. Правдивость и искренность высказывания стократно усилены «своеобразным лирическим стыдом себя, *стыдом лирического пафоса*, стыдом лирической откровенности» (*Бахтин об Анненском*). Это беспримесная поэзия, нерукотворные слова. Им не нужна артистическая поддержка со стороны, в которой всегда есть что-то отухищений искусности, ибо «поэт не создает образов, но он бросает векам проблемы». Словам возвращено их промотанное людьми содержание, внушающая сила и твердость. Стихотворение «О нет, не стан» – знаменитая, единственная в своем роде лирическая пьеса. Двенадцать строк, три строфы. Написано оно в 1906 году в Вологде.

О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю
Не влажный блеск малиновых улыбок, —
Страдания холодную змею.

Так иногда в банально-пестрой зале,
Где вальс звенит, волнуя и моля,
Зову мечтой я звуки Парсифаля,
И Тень, и Смерть над маской короля...

.....

Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость – только мука

По где-то там сияющей красе...

Вернее сказать, что стихотворение не написано, а пишется каждый раз, когда его читают. Оно вновь и вновь создается опытом воспринимающего сознания, чуткого и открытого. Лишь в нем оно возводится в единство многих равноправных смыслов. Его мерцанье обращено не к сознанию поэтически развитому, а к слепому ищущему «оправдания жизни».

В свое время один талантливый поэт обратил внимание на «удивительную, ничем не подготовленную последнюю строфу» этого стихотворения. Так ли это? Строфа, конечно, изумительна. Ее появление неожиданно. Первые строфы будто и не о том: в них странный набор почти ничего не значащих и ничего не обещающих образов. При желании можно понять и «Парсифаля», и «Тень и Смерть над маской короля», припомнив столь близкого русским символистам Вагнера. Но как примирить несравненную красоту последней строфы со всеми этими «нежно-зыбкими» станами, «малиновыми улыбками» и «холодными змеями страданий»?

Стихотворение обрывается не строфой, а в строфу. Бывает ведь так: идет себе человек, вокруг что-то знакомое, привычное, иногда приятное, иногда отвратительное, чаще никакое, и вдруг провалился куда-то. Испуг, удивление и неожиданное нахождение в себе и в мире того, о чем всегда знал, но о насущности не догадывался. И возвращается «из глубины» с новым знанием, знанием потрясенным, с обостренным зрением. Вот и последняя строфа перестраивает все стихотворение, ее «свет» изменил весь «первый» смысл, поколебал его, привел в движение почти омертвевшие слова и обороты, пересоздал изначальную поверхность словесного пространства в простор и глубину тайны.

Прикосновение к стихам Анненского пробуждает душу, сердце («стук, дребезг и холод нашего пробуждения с музыкой в сердце»):

Часы не свершили урока,
А маятник точно уснул,
Тогда распахнул я широко
Футляр их – лиру качнул.

И, грубо лишенная мира,
Которого столько ждала,
Опять по тюрьме своей лира,
Дрожа и шатаясь, пошла.

(Лиры часов)

Тюремность жизни, подневольность существования. Двумя словами («дрожа и шатаясь») достигнута ощутимая в опыте читателя внятность, чужое стало своим.

Некогда прекрасный, теперь запущенный парк – статуи, водоемы... Столь частый предмет элегических вздыханий, импрессионистской печали, горестных упований:

Я на дне, я печальный обломок,
Надо мной зеленеет вода.
Из тяжелых стеклянных потемок
Нет путей никому, никуда...

.....

Если ж верить тем шепотам бреда,

Что томят мой постылый покой,
Там тоскует по мне Андромеда
С искалеченной белой рукой.

(Я на дне)

Было бы святотатством приближаться к этим стихам с разъяснениями и указаниями «на мастерство». Но «Андромеда с искалеченной белой рукой» – вот хватка великого поэта, вот власть будничного слова («искалеченная») в изначально изысканной атмосфере и картине.

При небольшом количественном объеме своей лирики (в этом отношении он сравним лишь с Тютчевым) Анненский неслыханно богат и разнообразен как художник. Моралистическая проповедь и глубочайшее философствование, тончайший импрессионизм в пейзажах, настроениях и драматическая острота жанровых сцен, романс и фольклорно-балаган-ные пьесы, стихотворная новелла, иронический гротеск, религиозно-духовные откровения – и все обладает достоинством поэзии Божией милостью. И можно до бесконечности завороченно, благодарственно следить могучее движение этого величественного и щедрого духа.

Стихотворения

Тихие песни

*Из заветного фиала
В эти песни пролита,
Но увы! не красота.
Только мука идеала.*
Никто¹

Поэзия

Над высью пламенной Синая
Любить туман Ее лучей,
Молиться Ей, Ее не зная,
Тем безнадежно горячей.

Но из лазури фимиама,
От лилий праздного венца,
Бежать... презрев гордыню храма
И славословие жреца,

Чтоб в океане мутных далей,
В безумном чаяньи святынь,
Искать следов Ее сандалий
Между заносами пустынь.

∞

Девиз Таинственной похож
На опрокинутое 8:
Она – отраднейшая ложь
Из всех, что мы в сознаньи носим.

В кругу эмалевых минут
Ее свершаются обеты,
А в сумрак звездами блеснут
Иль ветром полночи пропеты.

Но где светил погасших лик
Остановил для нас течение,

¹ Псевдоним-анаграмма поэта (буквы из имени «Иннокентий»).

Там Бесконечность – только миг,
Дробимый молнией мученья.

У гроба

В квартире прибрано. Белеют зеркала.
Как конь попоною, одет рояль забытый:
На консультации вчера здесь Смерть была
И дверь после себя оставила открытой.
Давно с календаря не обрывались дни,
Но тикают еще часы его с комода,
А из угла глядит, свидетель агоний,
С рожком для синих губ подушка кислорода.
В недоумении открыл я мертвеца...
Сказать, что это я... весь этот ужас тела...
Иль Тайна бытия уж населить успела
Приют покинутый всем чуждого лица?

Двойник

Не я, и не он, и не ты,
И то же, что я, и не то же:
Так были мы где-то похожи,
Что наши смешались черты.

В сомненьи кипит еще спор,
Но, слиты незримой четою,
Одной мы живем и мечтою,
Мечтою разлуки с тех пор.

Горячешный сон волновал
Обманом вторых очертаний,
Но чем я глядел неустанней,
Тем ярче себя ж узнавал.

Лишь полога ночи немой
Порой отразит колыханье
Мое и другое дыханье,
Бой сердца и мой и не мой...

И в мутном круженье годин
Всё чаще вопрос меня мучит:
Когда наконец нас разлучат,
Каким же я буду один?

Который?

Когда на бессонное ложе
Рассыплется бреда цветы,
Какая отвага, о Боже,
Какие победы мечты!..

Откинув докучную маску,
Не чувствуя уз бытия,
В какую волшебную сказку
Вольется свободное я!

Там всё, что на сердце годами
Пугливо таил я от всех,
Рассыплется ярко звездами,
Прорвется, как дерзостный смех...

Там в дымных топазах запястий
Так тихо мне Ночь говорит;
Нездешней мучительной страсти
Огнем она черным горит...

Но я... безучастен пред нею
И нем, и недвижим лежу...

.....
На сердце ее я, бледнея,
За розовой раной слежу,

За розовой раной тумана,
И пьяный от призраков взор
Читает там дерзость обмана
И сдавшейся мысли позор.

.....

О царь Недоступного Света,
Отец моего бытия,
Открой же хоть сердцу поэта,
Которое создал ты я.

На пороге

(Тринадцать строк)

Дыханье дав моим устам,
Она на факел свой дохнула,
И целый мир на Здесь и Там

В тот миг безумья разомкнула,
Ушла, – и холодом пахнуло
По древожизненным листьям.

С тех пор Незримая, года
Мои сжигая без следа,
Желанье жить всё жарче будит,
Но нас никто и никогда
Не примирит и не рассудит,
И верю: вновь за мной когда
Она придет – меня не будет.

Листы

На белом небе всё тусклей
Златится горняя лампада,
И в доцветании аллей
Дрожат зигзаги листопада.

Кружатся нежные листы
И не хотят коснуться праха...
О, неужели это ты,
Всё то же наше чувство страха?

Иль над обманом бытия
Творца веленье не звучало,
И нет конца и нет начала
Тебе, тоскующее я?

В открытые окна

Бывает час в преддверьи сна,
Когда беседа умолкает,
Нас тянет сердца глубина,
А голос собственный пугает,

И в нарастающей тени
Через отворенные окна,
Как жерла, светятся одни,
Свиваясь, рыжие волокна.

Не Скуки ль там Циклоп залег,
От золотого зноя хмелен,
Что, розовея, уголек
В закрытый глаз его нацелен?

Идеал

Тупые звуки вспышек газа
Над мертвой яркостью голов,
И скуки черная зараза
От покидаемых столов,

И там, среди зеленолицых,
Тоску привычки затая,
Решать на выцветших страницах
Постылый ребус бытия.

Май

Так нежно небо зацвело,
А майский день уж тихо тает,
И только тусклое стекло
Пожаром запада блистает.

К нему прильнув из полутьмы,
В минутном млеет позлащеньи
Тот мир, которым были мы...
Иль будем, в вечном превращеньи?

И разлучить не можешь глаз
Ты с пыльно-зыбкой позолотой,
Но в гамму вечера влилась
Она тоскующею нотой

Над миром, что, златим огнем,
Сейчас умрет, не понимая,
Что счастье искрилось не в нем,
А в золотом обмане мая,

Что безвозвратно синева,
Его златившая, поблекла...
Что только зарево едва
Коробит розовые стекла.

Июль

1

Сонет

Когда весь день свои костры
Июль палит над рожью спелой,
Не свежий лес с своей капеллой,
Нас тешат: демонской игры

За тучей разом потемнелой
Раскатно-гулкие шары;
И то оранжевый, то белый
Лишь миг живущие миры;

И цвета старого червонца
Пары сгоняющее солнце
С небес омыто-голубых.

И для ожившего дыханья
Возможность пить благоуханья
Из чаши ливней золотых.

2

Палимая огнем недвижимого светила,
Проклятый свой урок отлязгала кирьга
И спящих грабаров с землею склотила,
Как ливень черные, осенние стога.

Каких-то диких сил последнее решение,
Луча отвесного неслышный людям зов,
И абрис ног худых меж чадного смешенья
Всклокоченных бород и рваных картузов.

Не страшно ль иногда становится на свете?
Не хочется ль бежать, укрыться поскорей?
Подумай: на руках у матерей
Всё это были розовые дети.

1909

Август

1

Хризантема

Облака плывут так низко,
Но в тумане всё нежней
Пламя пурпурного диска
Без лучей и без теней.

Тихо траурные кони
Подвигают яркий гнет,
Что-то чуткое в короне
То померкнет, то блеснет...

...Это было поздним летом
Меж раkit и на песке,
Перед бледно-желтым цветом
В увядающем венке,

И казалось мне, что нежной
Хризантема головой
Припадает безнадежно
К яркой крышке гробовой...

И что два ее свитые
Лепестка на сходнях дрог —
Это кольца золотые
Ею сброшенных серег.

2

Электрический свет в аллее

О, не зови меня, не мучь!

Скользя бесцельно, утомленно,
Зачем у ночи вырвал луч,
Засыпав блеском, ветку клена?

Ее пьянит зеленый чад,
И дум ей жаль разоблаченных,
И слезы осени дрожат
В ее листьях раззолоченных, —

А свод так сладостно дремуч,
Так миротворно слиты звенья...
И сна, и мрака, и забвенья...
О, не зови меня, не мучь!

Сентябрь

Раззолочённые, но чахлые сады
С соблазном пурпура на медленных недугах,
И солнца поздний пыл в его коротких дугах,
Невластный вылиться в душистые плоды.

И желтый шелк ковров, и грубые следы,
И понятая ложь последнего свиданья,
И парков черные, бездонные пруды,
Давно готовые для спелого страданья...

Но сердцу чудится лишь красота утрат,
Лишь упоение в замороженной силе;
И тех, которые уж лотоса вкусили,
Волнует вкрадчивый осенний аромат.

Ноябрь

Сонет

Как тускло пурпурное пламя,
Как мертвы желтые утра!
Как сеть ветвей в оконной раме
Всё та ж сегодня, что вчера...

Одна утеха, что местами

Налет белил и серебра
Мягчит пушистыми чертами
Работу тонкую пера...

В тумане солнце, как в неволе...
Скорей бы сани, сумрак, поле,
Следить круженье облаков, —

Да, упиваясь медным свистом,
В безбрежной зыбкости снегов
Скользить по линиям волнистым...

Ветер

Люблю его, когда, сердит,
Он поле ржи задернет флёром
Иль нежным лётom бороздит
Волну по розовым озерам;

Когда грозит он кораблю
И паруса свивает в жгутья;
И шум зеленый я люблю,
И облаков люблю лоскутья...

Но мне милей в глуши садов
Тот ветер теплый и игривый,
Что хлещет жгучею крапивой
По шапкам розовым дедов.

Ненужные строфы

Сонет

Нет, не жемчужины, рожденные страданьем,
Из жерла черного метала глубина:
Тем до рожденья их отверженным созданиям
Мне одному, увы! известна лишь цена...

Как чахлая листва, пестрима увяданьем
И безнадежностью небес позлащена,
Они полны еще неясным ожиданьем,

Но погребальная свеча уж зажжена.

Без лиц и без речей разыгранная драма:
Огонь под розами мучительно храним,
И светозарный Бог из черной ниши храма...

Он улыбается, он руки тянет к ним.
И дети бледные Сомненья и Тревоги
Идут к нему приять пурпуровые тоги.

В дороге

Перестал холодный дождь,
Сизый пар по небу вьется,
Но на пятна нив и рощ
Точно блеск молочный льется.

В этом чаяньи утра́
И предчувствии мороза
Как у черного костра
Мертвы линии обоза!

Жеребчатый дробный бег,
Пробы первых свистов птичьих
И кошмары снов мужичьих
Под рогожами телег.

Тошно сердцу моему
От одних намеков шума:
Всё бы молча в полутьму
Уводила думу дума.

Не сошла и тень с земли,
Уж в дыму овины тонут
И с бадьями журавли²,
Выпрямляясь, тихо стонут.

Дед идет с сумой и бос,

² На колодцах.

Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть... Наша совесть.

Среди нахлынувших воспоминаний

1

Перед закатом

Гаснет небо голубое,
На губах застыло слово;
Каждым нервом жду отбоя
Тихой музыки бывшего.

Но помедли, день, врачуя
Это сердце от разлада!
Всё глазами взять хочу я
Из темнеющего сада...

Щетку желтую газона,
На гряде цветок забытый,
Разоренного балкона
Остов, зеленью увитый.

Топора обиды злые,
Всё, чего уже не стало...
Чтобы сердце, сны бывшие
Узнавая, трепетало...

2

Под новой крышей

Сквозь листву просвет оконный,
Синью жгучею залит,
И тихонько ветер сонный
Волоса мне шевелит...

Не доделан новый кокон,
Точно трудные стихи:
Ни дверей, ни даже окон

Нет у пасынка стихий,

Но зато по клетям сруба
В темной зелени садов
Сапожищи жизни грубо
Не оставили следов,

И жилец докучным шумом
Мшистых стен не осквернил:
Хорошо здесь тихим думам
Литься в капельки чернил.

.....

Схоронили пепелище
Лунной ночью в забытье...
Здравствуй, правнуков жилище, —
И мое, и не мое!

Трактир жизни

Вкруг белеющей Психеи
Те же фикусы торчат,
Те же грустные лакеи,
Тот же гам и тот же чад...

Муть вина, нагие кости,
Пепел стынувших сигар,
На губах — отравы злости,
В сердце — скуки перегар...

Ночь давно снега одела,
Но уйти ты не спешишь;
Как в кошмаре, то и дело:
«Алкоголь или гашиш?»

А в сенях, поди, не жарко:
Там, поднявши воротник,
У плывущего огарка
Счеты сводит гробовщик.

Там

Ровно в полночь гонг унылый
Свел их тени в черной зале,
Где белел Эрот бескрылый
Меж искусственных азалий.

Там, качаяся, лампы
Пламя трепетное лили,
Душным ладаном услады
Там кадили чаши лилий.

Тварь единая живая
Там тянула к брашну жало,
Там отрава огневая
В кубки медные бежала.

На оскала смех застылый
Тени ночи напознали,
Бесконечный и унылый
Длился ужин в черной зале.

?

Пусть для ваших открытых сердец
До сих пор это – светлая фея
С упоительной лирой Орфея,
Для меня это – старый мудрец.

По лицу его тяжко проходит
Бороздой Вековая Мечта,
И для мира немые уста
Только бледной улыбкой поводит.



Ф.Н. и Н.П. Анненские. Родители поэта

Первый фортепьянный сонет

Есть книга чудная, где с каждою страницей
Галлюцинации таинственно свиты:
Там полон старый сад луной и небылицей,
Там клен бумажные заворожил листы.

Там в очертаниях тревожной пустоты,
Упившись чарами луны зеленолицей,
Менады белою мятутся вереницей,
И десять реет их по клавишам мечты.

Но, изумрудами запястий залитая,
Меня волнует дев мучительная стая:
Кристалльно чистые так бешено горды.

И я порвать хочу серебряные звенья...
Но нет разлуки нам, ни мира, ни забвенья,
И режут сердце мне их узкие следы...

Еще один

И пылок был, и грозен День,
И в знамя верил голубое,
Но ночь пришла, и нежно тень
Берет усталого без боя.

Как мало их! Еще один
В лучах слабеющей Надежды
Уходит гордый паладин:
От золотой его одежды

Осталась бурая кайма,
Да горький чад... воспоминанья
.....
Как обгорелого письма
Неповторимое признание.

<1903>

С четырех сторон чаши

Нежным баловнем мамыши
То большиться, то шалить...
И рассеянно из чаши
Пену пить, а влагу лить...

Сил и дней гордась избытком,
Мимоходом, на лету
Хмельно-розовым напитком
Усыплять свою мечту.

Увидав, что невозможно
Ни вернуться, ни забыть...
Пить поспешно, пить тревожно,
Рядом с сыном, может быть,

Под наплывом лет согнуться,
Но, забыв и вкус вина...
По привычке всё тянуться
К чаше, выпитой до дна.

Villa nazionale³

Смычка заслушавшись, тоскливо
Волна горит, а луч померк, —
И в тени душные залива

³ Объяснение см. в Примечаниях.

Вот-вот ворвется фейерверк.

Но в мутном чаяньи испуга,
В истоме прерванного сна,
Не угадать Царице юга
Тот миг шальной, когда она

Развяжет, разоймет, расщиплет
Золотоцветный свой букет
И звезды робкие рассыплет
Огнями дерзкими ракет.

<1890>

Опять в дороге

Когда высоко под дугою
Звенело солнце для меня,
Я жил унылою мечтою,
Минуты светлые гоня...

Они пугливо отлетали,
Но вот прибился мой звонок:
И где же вы, златые дали?
В тумане – юг, погас восток...

А там стена, к закату ближе,
Такая страшная на взгляд...
Она всё выше... Мы всё ниже...
«Постой-ка, дядя!» – «Не велят».

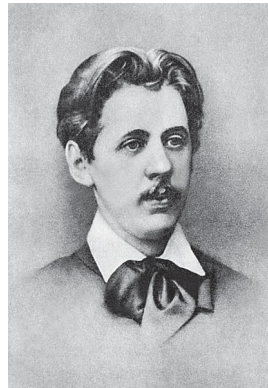
На воде

То луга ли, скажи, облака ли, вода ль
Околдована желтой луною:
Серебристая гладь, серебристая даль
Надо мной, предо мною, за мною...

Ни о чем не жалеть... Ничего не желать...
Только б маска колдуньи светилась
Да клубком ее сказка катилась

В серебристую даль, на серебристую гладь.

1900



И.Ф. Анненский. Фотография 1870-х гг.

Конец осенней сказки

Сонет

Неустанно ночи длинной
Сказка черная лилась,
И багровый над долиной
Загорелся поздно глаз;

Видит: радуг паутина
Почернела, порвалась,
В малахиты только тина
Пышно так разубралась.

Видит: пар белесоватый
И ползет, и вьется ватой,
Да из черного куста

Там и сям сочатся грозди
И краснеют... точно гвозди
После снятого Христа.

Утро

Эта ночь бесконечна была,
Я не смел, я боялся уснуть:
Два мучительно-черных крыла

Тяжело мне ложились на грудь.

На призывы ж тех крыльев в ответ
Трепетал, замирая, птенец,
И не знал я, придет ли рассвет
Или это уж полный конец...

О, смелее... Кошмар позади,
Его страшное царство прошло;
Вещих птиц на груди и в груди
Отшумело до завтра крыло...

Облака еще плачут, гудя,
Но светлеет и нехотя тень,
И банальный, за сетью дождя,
Улыбнуться попробовал День.

Ванька-ключник в тюрьме

Крутясь-мутясь да сбились
Желты́ пески с волной,
Часочек мы любилися,
Да с мужнею женой.

Ой, цветики садовые,
Да некому полить!
Ой, прянички медовые!
Да с кем же вас делить?

А уж на что уважаены:
Проси – не улечу,
У стеночки посажены,
Да не плечо к плечу.

Цепочечку позванивать
Продели у ноги,
Позванивать, подманивать:
«А ну-тка, убеги!»

А мимо птицей мычется

Злодей – моя тоска...
Такая-то добытчица,
Да не найти крюка?!

Свечка гаснет

В темном пламени свечи
Зароившись как живые,
Миготом гибнут огневые
Брызги в трепетной ночи,
Но с мольбою голубые
Долго теплятся лучи
В темном пламени свечи.

Эх, заснуть бы спозаранья,
Да страшат набеги сна,
Как безумного желанья
Тихий берег умиранья
Захлестнувшая волна.
Свечка гаснет. Ночь душна...
Эх, заснуть бы спозаранья...

Декорация

Это – лунная ночь невозможного сна,
Так уныла, желта и больна
В облаках театральных луна,

Свет полос запыленно-зеленых
На бумажных колеблется кленах.

Это – лунная ночь невозможной мечты...
Но недвижны и странны черты:
– Это маска твоя или ты?

Вот чуть-чуть шевельнулись ресницы...
Дальше... вырваны дальше страницы.

Бессонницы

1

Бессонница ребенка

От душной копоти земли
Погасла точка огневая,
И плавно тени потекли,
Контúры странные сливая.

И знал, что спать я не могу:
Пока уста мои молились,
Те, неотвязные, в мозгу
Опять слова зашевелились.

И я лежал, а тени шли,
Наверно зная и скрывая,
Как гриб выходит из земли
И ходит стрелка часовая.

2

«Парки – бабье лепетанье»

Сонет

Я ночи знал. Мечта и труд
Их наполняли трепетаньем, —
Туда, к надлунным очертаньям,
Бывало, мысль они зовут.

Томя и нежа ожиданьем,
Они, бывало, промелькнут,
Как цепи розовых минут
Между запиской и свиданьем.

Но мая белого ночей
Давно страницы пожелтели...
Теперь я слышу у постели

Веретено, – и, как ручей,

Задавлен камнями обвала,
Оно уж лепет обрывало...

3

Далеко... Далеко...

Когда умирает для уха
Железа мучительный гром,
Мне тихо по коже старуха
Водить начинает пером.
Перо ее так борогато,
Так плотно засело в руке...

.....
Не им ли я кляксу когда-то
На розовом сделал листке?
Я помню – слеза в ней блистала,
Другая ползла по лицу:
Давно под часами усталый
Стихи выводил я отцу...

.....
Но жаркая стынет подушка,
Окно начинает белеть...
Пора и в дорогу, старушка,
Под утро душна эта клеть.
Мы тронулись... Тройка плетется,
Никак не найдет колеи,
А сердце... бубенчиком бьется
Так тихо у потной шлеи...

Лилии

1

Второй мучительный сонет

Не мастер Тира иль Багдата,
Лишь девы нежные персты
Сумели вырезать когда-то
Лилеи нежные листы, —

С тех пор в отраве аромата
Живут, таинственно слиты,
Обетованье и утрата
Неразделенной красоты,

Живут любовью без забвенья
Незаполнимые мгновенья...
И если чуткий сон аллеи

Встревожит месяц сребролукий,
Всю ночь потом уста лилей
Там дышат ладаном разлуки.

2

Зимние лилии

Зимней ночи путь так долог,
Зимней ночью мне не спится:
Из углов и с книжных полок
Сквозь ее тяжелый полог
Сумрак розовый струится.

Серебристые фиалы
Опрокинув в воздух сонный,
Льют лилеи небывалый
Мне напиток благовонный, —

И из кубка их живого
В поэтической оправе
Рад я сладостной отраве
Напряженья мозгового...

В белой чаше тают звенья
Из цепей воспоминанья,
И от яду на мгновенье
Знаньем кажется незнанье.

3

Падение лилий

Уж черной Ночи бледный День
Свой факел отдал, улетаю:
Темнеет в небе хлопьев стая,
Но, веселя немую сень,

В камине вьется золотая
Змея, змеей перевитая.
Гляжу в огонь – работать лень:
Пускай по стенам, вырастая,
Дрожа, колеблясь или тая,
За тенью исчезает тень,
А сердцу снится тень иная,
И сердце плачет, вспоминая.
Сейчас последние, светлей
Златисто-розовых углей,
Падут минутные строенья:
С могил далеких и полей
И из серебряных аллей
Услышу мрака дуновенье...
В постель скорее!.. Там теплей,
А ты, волшебница, налей
Мне капель чуткого забвенья,
Чтоб ночью вянущих лилей
Мне ярче слышать со стеблей
Сухой и странный звук паденья.

3 февраля 1901

С балкона

Полюбила солнце апреля
Молодая и нежная ива.
Не прошла и Святая неделя,
Распустилась бледная ива
В жаркой ласке солнца апреля.

Но недвижны старые клены:
Их не греет солнце апреля,
Только иве дивятся зеленой,
Только шепчут под небом апреля
Обнаженные мшистые клены:

«Не на радость, о бледная ива,
Полюбила ты солнце апреля:
Безнадежно больное ревниво
И сожжет тебя солнце апреля,
Чтоб другим не досталась ты, ива».

Молот и искры

Молот жизни, на плéчах мне камни дробя,
Так мучительно груб и тяжел,
А ведь, кажется, месяц еще не прошел,
Что я сказками тешил себя...
Те, скажи мне, завянуть успели ль цветы,
Что уста целовали, любя,
Или, их обогнав, улетели мечты,
Те цветы... Я не знаю: тебя
Я люблю или нет... Не горит ореол
И горит – это ты и не ты,
Молот жизни мучительно, адски тяжел,
И ни искры под ним... красоты...
А ведь, кажется, месяц еще не прошел.

1901

Тоска возврата

Уже лазурь златить устала
Цветные вырезки стекла,
Уж буря светлая хорала
Под темным сводом замерла;

Немые тени вереницей
Идут чрез северный портал,
Но ангел Ночи бледнолицый
Еще кафизмы не читал...

В луче прощальном, запыленном
Своим грехом неотмоленным
Томится День пережитой,

Как серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой...
На гриф умолкшей виолончели.

Рождение и смерть поэта

(Кантата)

БАЯН

Над Москвою старой златоглавою
Не звезда в полуночи затеплилась,
Над ее садочками зелеными,
Ой зелеными садочками кудрявыми
Молодая зорька разгоралась.
Не Вольга-богатырь нарождается,
Нарождается надежда – молодой певец,
Удалая головушка кудрявая.
Да не золотая трубочка вострубила,
Молодой запел душа-соловьишка,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.